

## ПОЛИТИКА

### *Чувствительность: личная или политическая? Пять позиций*

*Мария Бикбулатова, Анастасия Кальк, Елена Костылева,  
Мария Кочкина, Артемий Магун*

*Анастасия Кальк*

Журналисты и социальные исследователи все чаще приписывают новому молодому поколению особую обостренную чувствительность.<sup>1</sup> В последнее десятилетие утвердился даже специальный термин “поколение снежинок,” который американские консервативные авторы используют для описания слишком острых реакций молодежи на социальную несправедливость.<sup>2</sup> Современный политический мир делится на людей двух поколений, которым становится все более трудно друг друга понимать, регулярно объясняют журналисты и повторяют за ними исследователи в России. Люди и молодые люди в особенности стали слишком чувствительны и индивидуализированы, чтобы вступать в диалог, строить политические сообщества или реагировать на критику, пишут исследователи российской демократии.<sup>3</sup> Вместо политических движений, они оказываются поглощены частными проблемами, обидами и личными переживаниями. Они стараются избегать политических конфликтов.

Из этого исследовательского предположения и желания его оспорить родился философский диспут *Новая Чувствительность и Новое Хладнокровие*, который был организован Европейским Университетом в марте этого года.<sup>4</sup> В дебате приняли участие представительницы поколения и политики

“снежинок,” чувствительных к неравенству и несправедливости, которые выступили с тезисом о том, что чувствительность представляет собой не препятствие для публичной политики, а наоборот – центральный ресурс коллективной борьбы на протяжении последних двух веков. Чувствительность может быть и является условием возникновения массовых и популярных политических движений, а не их помехой.

Мы решили собрать разные позиции участников спора о том, *что такое чувствительность, кому присуща, как возникает, и какое место занимает в политике* в отдельный текст, чтобы представить конфликтующие теории и обострить разногласия, которые существуют вокруг данного вопроса. В дискуссии высказались Артемий Магун, Мария Бикбулатова, Мария Кочкина, Анастасия Кальк и Елена Костылева. Один из главных предметов нашего общего спора касается субъекта или автора чувствительности. Когда мы говорим о чувствительности и эмоциональности, мы имеем в виду персональные чувства (личную обиду или раздражение) или все же обсуждаем коллективную чувствительность (политические страсти)? Как обсуждать второе и выбраться из цикла обсуждений исключительно первого? Этот вопрос в своем высказывании задает каждый участник спора.

Следующей точкой преткновения оказалась политическая оценка современных феминистских движений. Есть ли в феминистских движениях (и в их феминистской чувствительности), которые набирают силу в последние четыре года, желание подлинной коллективности – масштабного проекта переустройства общества, или они лишь способствуют атомизации и усиливают индивидуализм/нарциссизм? Позиции участников дискуссии по этому вопросу сильно расходятся. Наконец, третьей проблемой, которая вызывает серьезное несогласие, является вопрос об отношениях между чувствительным и рациональным. Можем ли мы разделять эти две формы политики и знания? Участницы дебата, которые защищают чувствительность и отстаивают ее неотъемлемую политическую роль (Мария Бикбулатова, Мария Кочкина, Анастасия Кальк) сходятся в указании на не состоятельность господствующего представления о политике – говоря метафорически – как о двухкомнатной квартире, где одна комната выделена чувствам и эмоциям, а вторая – рациональному действию. Они не считают эту теоретическую схему удовлетворительной для понимания окружающей действительности и предлагают поставить ее под сомнение.

Данный блок из пяти самостоятельных высказываний возник из попытки понять друг друга и разобраться как в собственных различиях, так и в точках соединений. Блок представляет собой результат перевода устной офлайн дискуссии в Санкт-Петербурге и связанного с ней онлайн-спора

на фэйсбуке в форму письменного диалога, что с заостренными фэйсбук-дискуссиями случается довольно редко. Тексты были написаны по цепочке, в том порядке, в котором они представлены ниже. Авторы реагируют на предшествующие высказывания и формулируют свои позиции, отталкиваясь от аргументов, выдвинутых другими участниками спора.

1. См., например, Bradley Campbell & Jason Manning, *The Rise of Victimhood Culture: Microaggressions, Safe Spaces, and the New Culture Wars*, Palgrave Macmillan, 2018
2. Claire Fox, *I find this Offensive!*, Biteback Publishing, 2016
3. См., например, *Обиженные и оскорбленные - социолог Полина Аронсон о наших задетых чувствах*, Кольта, 23 мая 2019, <https://www.colta.ru/articles/media/21290-obizhennye-i-oskorblennye>
4. «Новая чувствительность против нового хладнокровия»: Философский диспут в Библиотеке Маяковского при участии Марии Кочкиной, Александра Скидана, Марии Бикбулатовой, Йоэля Регева, Елены Костылевой и Артемия Магуна, <https://eusp.org/events/filosofskiy-disput-novaya-chuvstvitelnost-protiv-novogo-khladnokroviya>

*Артемий Магун*

## **Новая чувствительность и старая вменяемость**

### ***Заметки после диспута в библиотеке им. Маяковского и параллельной дискуссии в ФБ***

В последнее десятилетие нет недостатка ни в «новой чувствительности» — чувствительности в смысле уязвимости и готовности эмоционально, то есть театрально и гиперболически реагировать на неприятный факт, ни в ее критике от лица относительно либерально-консервативных авторов (А. Зорин, П. Аронсон, Ю. Сапрыкин и др.). Новой эта чувствительность является лишь относительно, она во многом повторяет сентиментализм 18 века, а также следует сентиментально-моральной «культуре жалобы» (“Culture of Complaint”), развившейся в США с 1980-х. Но новой является легитимация эмоциональных индивидуальных реакций в публичном пространстве, и по-новому сужаются пределы толерантности по отношению и к словам, и к делам. Университеты, например, требуют давать trigger warnings, если собираешься рассказать про что-то неприятное, особенно для меньшинств (а в различные меньшинства записаны очень многие).

Многие говорят о молодежной культуре людей-снежинок. Модно обсуждать сильные негативные эмоции («депрессию») и пить против них таблетки. Модно обижаться, вставать в позицию жертвы и атаковать обидчиков. Ну, упомянутые авторы из России описывают эту тенденцию, несколько ее преувеличивая (пока у нас это все-таки тренд среди элитной молодежи, разворачивающийся внутри гендерно традиционалистского и неpolitкорректного, грубого общества), и критикуют ее – прежде всего за то, что она подрывает публичную сферу, с ее правилами рациональной дискуссии и свободой высказывания.

Я бы добавил еще два основания критики:

– веками добродетель, под влиянием школы стоиков, рассматривалась как способность к самоконтролю и многостороннему рациональному взгляду, умение жить в постоянном противостоянии с неприятными тебе обстоятельствами. Новая чувствительность порождает своего рода антиэтику аффектированности, что в общем, как я говорил, не новость, ее история идет с 18го века.

– В нынешних выяснениях эмоциональных отношений инициатор обычно занимает позицию обиженного, позицию жертвы. Но это политически сомнительная позиция, потому, что вопреки протестам против унижения и обесценивания, субъект так и остается в позиции жертвы, действует в качестве жертвы. Это некая фиксация негативности, сравнимая с фигурой застывшей в страдании Ниобы (с которой отождествляет политическое насилие В. Беньямин в известной работе на эту тему).

Безусловно, вопрос о чувствительности не сводится в целом к вопросу об обиде и уязвимости. Он сводится к более широкой проблематике эмоциональности, аффективности, пафоса. Эмоция не обязательно негативно-пассивна, как обида или депрессия. Эмоцией являются и гнев, истерия, зашкаливающий энтузиазм и т.д. – хотя негативные эмоции всегда преобладают. В целом общество переживает в наше время, во всем мире, эмоционализацию.

У нее есть целый ряд факторов, а именно:

1) Либерализация и демократизация публичной сферы начиная с 1968 года (с 1991 года в России) – снятие цензурных табу, перемешивание публичного и приватного общения: эмоция, пафос как стиль выражения становятся более приемлемыми.

2) Трансформация СМИ, возникновение социальных медиа, которые рассчитаны на быстрое воздействие на массовую аудиторию, измеряемое в количественных параметрах, – шок, громкость и скорость здесь перекрывают содержание.

3) Нарастание внутренней неудовлетворенности системой, кризиса легитимации – в отсутствие рациональных альтернатив. Эмоционализация политики России против США, демократов против республиканцев в самих США есть следствие антагонизма в условиях общего ценностного консенсуса, поляризация партий, в отсутствие ясных классовых структур конфронтации. В данном случае конфликт не находит практического решения и ведет к амбивалентной, *истерической* структуре, часто характерной для аффекта.

4) Этого нельзя было бы сказать на страницах англоязычной периодики, но у нас пока можно: эмоционализация связана и с гендерной трансформацией общества, ведь «эмоциональность» – сентиментальность, склонность к театральности, преувеличению, а также приступы хандры – в патриархальном обществе была нишей женского поведения. Мужчина, как предполагалось, не должен был никогда плакать (смеяться и повышать голос, правда, мог!). Та форма гендерного равноправия, интеграции женщин, которая была выбрана на Западе, привела к противоречивым последствиям – с одной стороны возникли модели гендерно-нейтрального поведения, сдвинутого к «мужской» норме (например, женщины-профессионалы в США), а с другой – традиционно «женские» формы эмоциональности получили новую легитимность и распространились в том числе на мужчин – происходит определенная феминизация. Поэтому имеет место некая диалектика дистантности и аффективности, которая ярко выразилась в движении #metoo. В нем одновременно утверждается новая холодная и десексуализированная норма отношений, а с другой, это делается в аффектированных формах высказывания, с демонизацией мужского начальства и виктимизацией женщин.

Что такое эмоция? Долгий разговор, но для краткости сформулирую ее основные параметры:

– Это пассивная активность, активность, которую сам человек не до конца контролирует, она имеет натурально или социально объективный характер;

– Это индивидуализация и идентификация, применение к себе (или к «нам») некой объективной, как правило безличной ситуации;

– Это микро-чрезвычайное положение – крик об остроте конфликта или проблемы, который неразрешим обычными рациональными средствами. И в этой острой ситуации предъявляется этическая индугенция для любых, даже ранее запрещенных действий.

Нужны ли нам эмоции такого рода в левой, ориентированной на трансформацию системы и создание более справедливого общества, теории и практике?

Да, если пассивность нахлынувшей эмоции понимается, по Спинозе, как социальный симптом, идеология некоего вмененного нам наивного и шокированного субъекта, которая объективно неизбежна, но которую надо дальше преодолеть, чтобы создать гегемонную программу для всего общества. Да, если активность берет в результате верх над пассивностью и эмоция становится основанием для публичного коллективного действия. Нет, если пассивность эмоции понимается как натуральная и непосредственная, которую потом нужно «уважать» и нельзя «обесценивать». Нет, если активность под влиянием эмоции остается по духу пассивной (давайте не менять общественных отношений, но отомстим мужчинам, введем мелочную цензуру и т.д.).

Да, если, узнавая себя в безличных механизмах, мы в то же время чувствуем контраст между большими объективными процессами и нашей маленькой личностью. Да, если речь идет о призыве с энтузиазмом влиться в общее дело, получить признание от коллектива.

Нет, если эмоция сводится к нарциссическому пароксизму – ваш рассказ об открытиях Галилея в 16м веке обидел меня и обесценил, потому что вы не упомянули ни одной женщины – и т.д.

Да, если чрезвычайность эмоции используется для выработки новой нормы. Нет, если она является зеркалом веры в идеальную «норму», которая нереалистична – и потому становится морализмом и перманентным чрезвычайным положением.

Ленин, и вслед за ним Грамши, утверждали, что всевозможные стихийные движения, страсти, владеющие «массами» (они понимали – в духе времени - вот эту эмоциональность масс) – это зачаточные проявления социалистической сознательности, интуиции коммунистической истины, моральные проявления большой политической правды. Грамши даже использовал аристотелевскую теорию катарсиса, чтобы показать, что в революционном движении, благодаря интеллектуалам и на определенной грани интенсивности, страсти достигают «катарсиса», очищения – то есть сознательности и безличности. Соответственно, эти очищенные страсти становятся основой для гегемонии разумных социалистических устремлений – для противостояния фашизму. Если страсти остаются в неочищенном виде спазма, то они скорее способствуют мелочному распылению движения по локальным ситуациям.

Вернемся к «чувствительности». Это обострение вообще открытости миру, то есть не только реактивности, но и познавательного любопытства, можно только приветствовать, как потенциальный шаг к познанию реальности, в частности противоречий этой реальности. Однако, за чувствительностью как бурной реактивностью стоит, наоборот, отказ что-либо знать, и спасительное возвращение к «я» перед лицом опыта. Тут опять диалектика – нынешняя сентиментальность есть скорее кризис переполненной гипертрофированной чувствительности, где реакция на мелочи скрывает за собой некую блокировку сущностных конфликтов и сущностных возможностей.

Кроме того, мы имеем дело с очень конкретной и узнаваемой формой чувствительности. В данном случае верное чутье по отношению к проблемам женщин в современном обществе, и, что важнее (извините), к авторитаризму на рабочем месте и к отчуждению, происходящему из капиталистических отношений, выливается в формы, типичные для англосаксонской культуры и вообще для буржуазного общества – формы морального консенсуса и сентиментального индивидуализма. Это та же форма, которая переводит социальные задачи в форму благотворительности, которая разделяет экономический эгоизм и альтруистические моральные чувства по разным сегментам реальности. В ядре этого раскола – мазохистский фантазм *damsel in distress*, который и приносит наслаждение, и вызывает праведный гнев. Можно долго и нудно анализировать этот фантазм, но ясно одно – его использование лицемерно, его мобилизация по поводу и без повода бессознательна, и он служит для поддержания, а не трансформации буржуазного общества от лица его репрессивного трансцендентального субъекта – «Сверх-Я». В «новой чувствительности» мнимо «левые» критические инстинкты угнетенных, справедливая усталость от авторитарных отношений под маской дружелюбия, перехватываются господствующей идеологией – встроенной красной кнопкой вызова моральной полиции, с хорошей и настойчиво не замечаемой прививкой откровенно правого содержания – социального расизма (например, в отношении мужчин как натурально-социальной категории).

Сказав это, я должен сказать, что проблема здесь не только в англосаксонской культуре, так как перерождение левой повестки в социальный расизм было характерно, например, и для раннесоветского социализма (не говоря уже о Китае и Кампучии). Так что это уязвимость самого левого движения, а не только, узко, феминизма. Ставку в социализме на какую-то одну обиженную группу и раздувание «классового» антагонизма без предложения новых универсальных идентичностей я считаю порочной, и одна из задач левой теории – пересмотр этой исторической ставки.

*Мария Бикбулатова*

### **Я – чувствительный человек**

Публичный диспут — хороший повод поднять вопросы, однако довольно часто получается так, что в силу состязательного компонента начинает преобладать скорее риторическая составляющая. «Диспориться» до истины в таких условиях сложно, поэтому я рада, что в письменной дискуссии могу высказаться еще раз и прояснить свою позицию. Моя реплика будет, как и во время выступления, по форме довольно личной в силу того, что я выступаю на стороне чувствительности (и в силу того, что Артемий Магун, так сказать, пользуясь правом первой ночи, уже вобрал в своем высказывании все мои философские референсы), а когда говоришь о чувствах, хорошо говорить о том, что ты знаешь наилучшим образом, при этом у меня было время убедиться, что мои чувства вовсе не уникальны, а напротив, довольно распространены.

Меня, как и А.М. радикально не устраивает так называемая культура жалобы. Не устраивает она меня именно в силу моей чувствительности. Я чувствую глубокую усталость и разочарование от сетевых разборок, которые не ведут ни к чему, кроме утомления, и мне такой модус существования общественной жизни не представляется чем-то таким, что хотелось бы закрепить в качестве нормы. Тем не менее, я не считаю, что призывами быть рациональнее и вести себя приличнее можно здесь что-то сделать. Я сама много раз оказывалась в такой нелепой ситуации, когда призывала две ссорящиеся стороны успокоиться и поговорить спокойно и продуктивно. Удивительное дело: либо эти мои реплики оставались совсем без внимания, либо в них тоже виделось что-нибудь возмутительное и обидное! Столь же бесполезными оказываются размышления о том, нужна ли нам такая чувствительность или нет.

А.М. в своем высказывании демонстрирует некоторую наивность «хладнокровного», рационалистического подхода, потому как всё, что связано с чувствами, не работает таким образом. Чувствам все равно, нужны они нам или нет для какой-нибудь нашей сознательной цели: ведь невозможно прийти к ссорящимся людям и сказать: «Вы занимаетесь ерундой! Быстро перестаньте чувствовать обиду!» В крайнем случае можно запретить выражать чувства, что скорее всего приведет к еще более странным последствиям. Старое доброе подавление и вытеснение чувств нам здесь не поможет, эти недальновидные приемчики уже много раз нас подводили. Скорее, стоит не отмахиваться от чувств, не относиться к ним как к како-

му-то придатку, который все время путается под ногами вместо того, чтобы поставлять материал для разума как благовоспитанной чувственности. Стоит отнестись к чувствам серьезно и посмотреть, о чем они говорят нам, стоит отнестись к чувствительности не как к дефекту, мешающему жить, а как к механизму сверхтонкой настройки, способному улавливать важное.

А.М. говорит о том, что так называемые обидчивые и чувствительные просто не хотят чего-то о себе знать. Вообще, дискуссия проходила под знаменем «знания», которым размахивали «хладнокровные». Между тем, мне представляется, что так называемое хладнокровие – тоже форма незнания, так как подчас намного проще иметь дело с рациональностью, и легче просто не знать, что ты чувствуешь и по какой причине, потому что чувства говорят тебе о тебе самой/самом что-то неприятное. Например, что ты, такая/ой благородная/ый испытываешь зависть или ревность, что в свою очередь говорит об уязвимости. Мы не можем не испытывать чувства хотя бы потому, что нами движут желание и наслаждение, мы не можем не наслаждаться, и мы делаем это любыми доступными способами, осознаем мы это или нет. По сему давайте посмотрим на наши такие актуальные чувства обиды и раннимости и попытаемся подумать, о чем они могут нам говорить.

Почему мы так «любим» публично обижаться и ссориться? Почему нам по крайней мере есть дело до всякого трэша и нелепицы вроде той, кто там что написал на своей странице в фейсбуке и кто это возмутительное высказывание еще и лайкнул? Почему нас ранит высказывание едва знакомого человека, и нам кажется, что мы обязаны высказаться, сделать свою альтернативную позицию слышной? Почему мы просто не проходим мимо и не занимаемся другими делами? Мы часто слишком заняты для какой-то продуктивной деятельности, но почему для полотна комментариев, на которые уходит неделя, у нас находится время? Что я чувствую в момент, когда мне кажется необходимым написать, поддержать или выступить против какой-то очередной ерунды? Я чувствую, что в ситуации, где почти все каналы действия перекрыты, я по крайней мере действую хотя бы так, меняя баланс в публичном поле, разбивая тотальность, показывая, что что-то неприемлемо, вставая на сторону потерпевших несправедливость и так далее. Еще я чувствую интенсивность момента. Мне неприятно, я краснею, курю, хожу из угла в угол и волнуюсь, негодую, иногда даже дрожу от возмущения, короче, чувствую себя плохо. Но по крайней мере я себя чувствую, ощущаю себя живой.

Что-то подобное происходит с такой уязвимой группой населения как пожилые женщины. По крайней мере на постсоветском пространстве они часто оказываются в ситуации, когда им просто не на что направить свою ли-

бидинальную энергию. Очень многие пребывают в неведении относительно того, что у них вообще есть какие-то желания. За их плечами довольно часто истории подавления сексуальности или же глубокого разочарования. Многие просто оказываются в своем возрасте без партнеров, потому что мужская смертность выше в силу разных факторов, включая алкоголизм. Эти женщины, прожившие жизнь, у которых редко бывают масштабные проекты, кроме, возможно, дачных, что им делать, когда все уже давно прошло, но они все еще живы? (Я сейчас не говорю о тех формах деятельности, где «выход на пенсию» не предполагается, например, как в случае с интеллектуальным трудом.) Они могут судить обо всем с высоты своего опыта (который часто бывает абсолютно бесполезен в условиях быстро меняющегося мира), они могут обижаться на молодёжь по любому подвернувшемуся поводу, они портят отношения, чувствуют себя плохо, пьют корвалол и валидол, хватаются за сердце, но чувствуют себя живыми.

В этом смысле мы все сейчас немного такие пенсионерки. Мы живем на руинах огромного проекта, потерпевшего крушение, мы имеем множество перспектив, которые пытаемся одновременно удерживать, но нет никакого масштабного видения будущего, в которые мы могли бы по-настоящему поверить. Поэтому нам просто нужно чувствовать себя живыми в этой состарившейся парадигме. Поэтому мы ведем свою микро-борьбу, как нам кажется, очень важную, довольно часто мы боремся сами с собой, выискивая друг в друге скрытую патриархальность или либеральность, строча возмущенные трэды, чтобы просто почувствовать, что мы живы в этой машине смерти (как в балканской песне Игги Попа из девяностых), что мы еще на что-то годимся.

Мы знаем, что пожилые женщины не перестанут вести себя подобным образом, если только не найдут себе большой проект, в который можно инвестировать себя, если не влюбятся или не обретут какую-то сверхзадачу для своей жизни. Это кажется очень сложным, но тем не менее это возможно. Недавно на семейном дне рождении подруги я встретила удивительную «бабушку». Эта еврейская женщина с тонной харизмы, соблазняющими весь мир глазами и искрометной самоиронией рассказывала про свой недавний роман: ей было семьдесят два, а избранник ее был младше на десять лет. Другая пенсионерка ответила, что эта история из области фантастики, вот недавно к ней приходил электрик всего на пять лет младше ее, она готовилась к его приходу, а потом услышала, что он в телефонном разговоре с кем-то назвал ее бабушкой, а она так красилась, так одевалась! На что тетя Юля (харизматичная еврейка) парировала, что ничего удивительного, нужно ведь было раздеться! Не знаю, как всех остальных, а меня

тетя Юля покорила, покорила уверенностью, что в ее жизни, если она захочет, всегда будут увлекательные истории и страсть.

Все это я рассказываю к тому, что действительно полагаю, что мы со своей чувствительностью не так уж отличаемся от пожилых женщин, и что нам всем тоже нужно влюбиться, то есть инвестировать себя в масштабный проект, который не будет ориентирован отдельно на права женщин, рабочих или защиту окружающей среды. Нам необходимо выработать проект будущего, который, как объект нашей любви, будет гарантировать нам насыщенное переживание другого типа - волнующее, эйфорическое. Только в силу другого способа наслаждаться мы можем оставить обидчивость и предпочесть что-то еще, но никак не в силу решения вести себя прилично. Поэтому я считаю, что нужно не просто прислушиваться к чувствительности и чувствам, нужно позволить им быть топливом наших действий, коим они в любом случае являются, только если в рамках «хладнокровной» концепции мы отрицаем этот их статус и вытесняем их в серую зону, то *taking your sensitivity seriously* предполагает, что мы их в таком статусе признаем, нам важно их качество, нам важно и знание о самих себе, которое они в себе содержат.

На дискуссии я говорила о продуктивности чувства ярости, высвобождающейся, когда мы понимаем, что нас заставили верить, что мы сами виноваты в своем бедственном положении. Мы можем направлять эту ярость на угнетателей. Я также говорила о том, что я действительно являюсь одним из таких «гиперчувствительных» людей, которых ранят, но также и приводят в экстаз на первый взгляд незначительные вещи. Большую часть жизни я провела в недовольстве своей душевной организацией и попытках что-либо с ней сделать. Только последнее время, будучи уже три года в анализе, я стала относиться к своим чувствам иначе, не как к такой-то хтонической непреодолимой силе, которая движет мной против моей воли, но как к тому, что может мне что-то сказать об истине моего желания, а, следовательно, об основании моих действий. В конце концов, согласно Спинозе в основе аффектов лежит то или иное суждение, и не дурно было бы (как говорит исследовательница психоанализа Валерия Левчук), что-то об этих бессознательных суждениях узнать.

Я не могу изменить того факта, что я — чувствительный человек, как не могут этого изменить тысячи людей моего поколения и младше. И мне кажется, гораздо продуктивнее подумать о том, как возможно действие, исходя из такой диспозиции, а не пытаться ее перекроить. Благодаря своей чувствительности я знаю, что я абсолютно не готова терпеть. Например, я не готова терпеть манипулятивный характер алармистского тона СМИ и

различных проектов. Я хочу действовать не на основании ужаса от того, что если прямо сейчас я не предприму действие, то завтра будет уже все на свете потеряно. Наша чувствительность адаптируется к такой риторике как к варианту повседневности, выводя всех “тревожных звуков колокола” в дальний фон, либо же мы выгорает, и нам требуется помощь. Я отказываюсь действовать на том основании, что я виновата перед природой за то, что я — человек и уже этим приношу вред окружающей среде. Я знаю, что если кто-то лупит кувалдой по моей чувствительности, то вряд ли стоит ожидать чего-то хорошего от коллаборации с такими акторами. Я хочу честности от тех, с кем вступаю во взаимодействие. Я обхожу стороной тех, кто торгует коммодифицированным счастьем - в первую очередь потому, что я чувствую, что это не то, чего я желаю лишь в силу рациональных доводов.

Короче говоря, моя (наша) чувствительность при должном внимании может быть источником третьей, интуитивной формы знания по Спинозе. Может быть, это знание было бы нам не лишним? Начиная дискуссию, я обратила внимание не то, что *sense*, *sensitivity* и *sensibility* имеют один корень и одно смысловое основание. Тогда не ясно, почему мы считаем продуктивным разводить разум и чувства по разные стороны баррикад.

*Мария Кочкина*

### **Чувствительность, которая не нуждается в апологии**

Разговор о феномене, который мы назвали “новой чувствительностью”, начался с того, что в попытках выделить социальные тенденции последних лет, Артем Магун и Елена Костылева поделились своим опытом тревоги от общения с людьми, как в рамках личного, так и профессионального взаимодействия. Эта тревожность возникает из-за того, что социальная коммуникация становится как будто бы “минным полем”, где то и дело ты рискуешь “подорваться” на чужой травме, болезненном восприятии и моральной позиции. Есть ощущение, что любая неловкая формулировка, привычное обращение к классическим образцам или поспешное политическое суждение может послужить поводом для обиды, обвинения в обесценивании, культурной апроприации, неспособности осознать собственные при-

вилегии и т.д. Мне же казалось, что у меня как будто бы появилась, наконец, возможность говорить о том, о чем меня учили молчать, быть недовольной тем, что должна была терпеть, узнавать об обыкновенности того, что привыкла считать личным изъяном. Я не знала, стоит ли это объяснять взрослением, политической социализацией или объективными социальными механизмами, но я четко осознавала продуктивность и необходимость этой чувствительности. И вот из этой вечерней беседы в закуской и дискуссии в фейсбуке родилась идея публичного диспута и обмена письменными репликами по теме, предварительно сформулированной как “новая чувствительность”, которая то ли в действительности, то ли для чистоты аргумента противопоставляется традиционному самоконтролю и рациональному взгляду (можно назвать эту позицию “стоицизмом”).

Вообще интуиция о каком-то особом “чувствительном” способе существования давно кочует по заголовкам больших и маленьких изданий, которые пытаются разгадать загадку молодого поколения. Так популярность получило понятие “поколение снежинок”, которое было сформулировано Клэр Фокс, написавшей книгу “Это оскорбительно!”. Фокс описывала события в Йельском университете в 2015 году, когда студенты поспорили с администрацией по поводу степени, в которой университет должен контролировать ношение костюмов на Хэллоуин, если в них можно усмотреть черты неуважительных культурных заимствований. После этого “поколение снежинок” стало одним из слов 2016 года по версии словаря Collins English Dictionary, который определял его как “молодежь 2010-х годов”, менее стойкая и более склонная к обиде, чем предыдущие поколения. В качестве черт этого поколения выделяют культуру trigger-warning, требования политкорректности и безопасных мест, “сопротивление” свободе слова, а также увеличение числа проблем с психическим здоровьем.

В нашей дискуссии о “новой чувствительности”, которую Артем Магун определяет как “уязвимость и готовность эмоционально (то есть театрально и гиперболически) реагировать на неприятный факт” выделялись схожие черты, хотя речь не заходила о том, что новая чувствительность принадлежит представителям определенного поколения. При этом А.М. прослеживает ее связь с “сентиментализмом XVIII века, а также сентиментально-моральной “культурой

жалобы” (“Culture of Complaint”), развившейся в США с 1980-х”. Для него “новой” в этой “чувствительности” является “легитимация эмоциональных индивидуальных реакций в публичном пространстве”. Если я правильно понимаю А.М., речь идет о том, что, пользуясь достижениями феминистского, антиколониалистского, ЛГБТ+ и других движений (и так называемой “политики идентичности”), а также, возможно, дестигматизацией ментальных расстройств, некоторые люди производят манипуляцию, раздувая важность собственных переживаний (и, скорее всего, сами эти переживания) до вопросов общественной политики и морали. В результате этого раздувания эмоциональной сферы происходит фиксация на мелких различиях и невозможность увидеть реальные противоречия и конструктивно обсуждать модели “универсальных идентичностей”. Отсюда – бесконечное нарастание “сетевых разборок”, о которых в своей реплике упомянула Мария Бикбулатова, не приводящих ни к чему, кроме моральной усталости и разочарования.

М.Б., в своем ответе вставая на сторону “чувствительности”, тоже пишет о некоторой безысходности и отсутствии “масштабного видения будущего”, на фоне которых разворачиваются болезненная обидчивость, ранимость и потоки праведных негодований. Контекстом для наших постсоветских переживаний служит жизнь “на руинах огромного проекта, потерпевшего крушение”. Пребывая в левой меланхолии, мы ищем новую надежду, за которую можно было бы ухватиться, но вместо этого имеем дело с множеством различных повесток и стратегий (экологической, феминистской, расовой, антивоенной и т.д.), искусственное удержание которых, по мысли М.Б., приводит к перенапряжению и разрыву потенциальной коллективной субъективности. При этом, внимание и чуткое отношение к нашей эмоциональной жизни позволяет нам не стать “зомби” в ситуации отсутствия политических возможностей: “<...> я действую хотя бы так, меняя баланс в публичном поле, разбивая тотальность, показывая, что что-то неприемлемо, вставая на сторону потерпевших несправедливость.” Наши чувства, как пишет М.Б., говорят нам о том, что нельзя терпеть, о границах допустимого, и – таким образом – о негативности, которая готовит “сырую” субъективность, которая мог-

ла бы разразиться действием, как только бы у нее появился объект, обещающий “волнующее, эйфорическое” будущее.

Как я уже сказала, в нашей дискуссии, мы говорили скорее о новом тренде, а не о поколенческих различиях, на которых спекулируют консервативные газеты. Однако, возможно, действительно стоит обратить внимание на то, через что проходит поколение 2010-х. А.М. пишет, что в России популярен тренд на “новую чувствительность”, “разворачивающийся внутри гендерно традиционалистского и не-политкорректного, грубого общества”, в частности “среди элитной молодежи”. На мой взгляд, А.М. прав, что манифестация чувствительности имеет место на фоне крайне консервативной, расистской и патриархальной культуры с той лишь разницей, что это не проблема постсоветского общества – это проблема всего мира. При этом, однако, именно неолиберализация социальной сферы, прекаризация трудовых отношений, усугубление экологического кризиса, распространение правого уклона в мейнстримовой политике характеризует сцену, на которой мы видим появление новых массовых движений по всему миру. Миллионные феминистские демонстрации против насилия за репродуктивные права в США, Европе и Латинской Америке, рост низовых движений против растущего неравенства и сокращения социального сектора (“Желтые жилеты”, студенческие протесты в Чили, возвращение “социалистической” повестки в политике в США и Великобритании, и т.д.), шестимиллионная забастовка с требованиями объявления чрезвычайного климатического положения – мир бурлит, и даже в России мы чувствуем эти сдвиги, хотя на поверхности видим бесконечный застой. В отсутствии политических возможностей и ресурсов, российская политическая жизнь зачастую переходит в формат выбора определенного стиля жизни или моральной позиции. Однако, иногда нам удается почувствовать общую надежду, как можно увидеть в недавних движениях солидарности с жертвами гендерного и государственного насилия (Я=МЫ Сестры Хачатурян, Я=МЫ Иван Голунов).

Мне кажется, для того, чтобы подступиться к пониманию “чувствительности”, нам нужно кардинально сменить оптику: что если мы имеем дело не просто с коллективной тенденцией или “модой” выражать индивидуальную эмоцию, но *с индивидуальными случаями вы-*

ражения коллективной эмоции? На мой взгляд, “чувствительность”, выражающаяся в чувстве тревоги – это *восприимчивость* к изменениям в структуре власти и политических возможностей, которая объединяет многих, но имеет *тенденцию быть “приватизированной”*, как выразился бы Марк Фишер, вследствие доминирования отчуждающего характера капиталистического индивидуализма.<sup>1</sup>

Я согласна с М.Б., что чувствительность позволяет нам не превратиться в “зомби” и является основой для будущего действия. Более того, она формирует нас и *сама непосредственно является действием*. Таким образом, я вижу у “чувствительности” две главные черты:

1. Она раскрывает границы “индивидуального” опыта и позволяет увидеть за ним общие условия существования и возможности тех самых “универсальных идентичностей”;

2. Она позволяет перекидывать мост из невыносимой реальности в желаемое будущее.

“Чувствительность” является по сути поиском тождества между “Я” и “Мы”. Чувство должно быть хотя бы потенциально поделено между мной и другим, а выражение эмоций – это утверждение потенциальной общности. Так, Александра Коллонтай писала о чувственности:

“Солидарность – это не только *сознание* общности интересов, но и *духовно-душевная связь*, устанавливаемая между членами трудового коллектива. Общественный строй, построенный на солидарности и сотрудничестве, требует, однако, чтобы данное общество обладало высокоразвитой «потенцией любви», то есть способностью людей «переживать симпатические чувствования.»<sup>2</sup>

Через чувственность я “подключаюсь” к опыту другого, вижу в его опыте “себя”. Даже если я не обладаю *тем же* самым опытом и знанием, я могу почувствовать, что *мой опыт есть опыт того же мира, в котором живет другой*. Мне кажется очень точным высказывание М.Б. о том, что “хладнокровие – тоже форма незнания.” Рациональность является формой незнания потому что указывает на отсутствие определенного опыта чувственности, ощущений, которые тебя охватывают, когда твоя рациональность и, соответственно, “субъектность” ставится под вопрос.

В ситуации, когда твоя рациональность и “человечность” сомнительны в силу твоего тела, твоей кожи, твоего языка, твоего убогого существования, твое единственное поле боя и источник силы как раз находится в области чувственного. М.Б. отметила, что невозможно “изменить того факта, что я – чувствительный человек” и просто “перестать чувствовать обиду”, и мне кажется это очень важным. Иногда кажется, что для обиды или негодования достаточно какой-то мелочи: “всего лишь” шутка, “всего лишь” слово, “всего лишь” правило, но мы не должны путать повод (“триггер” или “последнюю каплю”) и причину, которая указывает на реально существующее и глубоко укорененное противоречие в мире, разжигающее огонь чувств.

Кэрол Ханиш в эссе, название которого стало известнейшим феминистским лозунгом “Личное – это политическое”,<sup>3</sup> в 1969 году писала о способе борьбы с тревогой – “политической” терапии как коллективной процедуре, при которой человек мог бы избавиться от чувства одиночества перед миром и осознать системный общественный характер психологических проблем. “Политическая” терапия призвана через публичное обсуждение депрессии и тревожности создавать чувство солидарности и коллективное сознание. Такая терапия могла бы быть инструментом не только для личного благополучия, но и революции: *можете представить себе, чтобы произошло если бы женщины, черные и рабочие перестали винить себя за плачевные условия существования?*

Второй чертой “чувствительности” я назвала связывание невыносимого настоящего и образа будущего. Здесь я опираюсь на теорию эмоций Жана-Поля Сартра. В “Очерке теории эмоций” Сартр заменяет традиционную картину пассивности нашей эмоциональной природы активным участием человека в своих эмоциональных переживаниях.<sup>4</sup> Спонтанное сознательное понимание ситуации, которая характеризует эмоцию, включает в себя то, что Сартр описывает как “магическую” трансформацию ситуации. Другими словами, в рамках этой теории не имеет смысла не только “разводить разум и чувства по разные стороны баррикад”, как написала М.Б., но и разделять чувство и действие. Столкнувшись с объектом, который представляется непреодолимой проблемой, субъект пытается взглянуть на него по-другому – как если бы он был волшебным образом преобразован.

Например, неизбежная крайняя опасность может привести к потере сознания, так что объект моего страха больше не будет в моем сознании. Или – в случае гнева на неподвижное препятствие, скажем, стену в тупике – я могу ударить его так, *как будто мир таков*, что это действие может привести к его устранению.

Отношение Сартра к эмоциям является поводом дискуссии среди исследователей его философии.<sup>5</sup> Для Сартра эмоция – это примитивное состояние, в котором мир не определяется объективными процессами, но магически перевоплощается. Вместо того, чтобы делать рациональные шаги по изменению мира, мы трансформируем наш взгляд на этот мир. Однако, даже если Сартр и относится к магии с пренебрежением, нам этого делать не обязательно. Во-первых, он сам признает, что магия связывает нас с миром и природой, а во-вторых, магия открывает доступ к утопическому горизонту, скрытому от рационального взгляда, который заставляет нас действовать в рамках представлений и стратегий обыденной жизни. А что если наше нежелание смириться действительно потрясет стену?

Так, известная феминистская исследовательница Сара Ахмед в своей книге “Жить феминистской жизнью” пишет, что быть феминисткой значит постоянно чувствовать свою хрупкость<sup>6</sup>. Если ты постоянно бьешься об стену, тебе кажется, что можешь расколоться на миллион мелких кусочков, но ты все равно продолжаешь биться об стену. Сущность эмоционального состояния является не имманентной чертой ментального мира, а скорее *трансформацией взгляда субъекта на мир*. Это не значит, что чувствительность определяет правильный способ трансформации и стратегии разрешения противоречий, но она открывает доступ к утопическому горизонту. Она является основой, которая раскроет свою трансформирующую потенцию при наличии “волнующего, эйфорического” проекта будущего. Она сама является частью этого проекта.

1. Fisher, M. (2009). *Capitalist realism: Is there no alternative?* John Hunt Publishing.

2. Коллонтай, А. (1923) Дорогу крылатому Эросу!, [https://www.marxists.org/russkij/kollontai/winged\\_eros.htm](https://www.marxists.org/russkij/kollontai/winged_eros.htm)

3. Hanisch, C. (1969). The personal is political. *Radical feminism: A documentary reader*, 113-16.

4. Sartre, J. P. (2015). *Sketch for a Theory of the Emotions*. London, New York: Routledge Classics.
5. Hartmann, M. (2017). A Comedy We Believe In: A Further Look at Sartre's Theory of Emotions. *European Journal of Philosophy*, 25(1), 144-172.
6. Ahmed, S. (2016). *Living a feminist life*. Duke University Press.

Анастасия Кальк

### Личное – еще не политическое

Остро чувствую, что с миром, в котором большая часть людей работают на трех работах, чтобы выжить, что-то не так. В мире, в котором состояние твоих родителей, гражданство и гендер определяют твою социальную судьбу, мне положено не очень много. Я злюсь на социальное неравенство и несправедливость, впадаю в отчаяние, когда слышу очередную историю классовой, гендерной и расовой дискриминации. Не могу воспринимать истории борьбы своих подруг, друзей и знакомых за экономические ресурсы, а социальное уважение - как информационный шум, от которого можно укрыться в академической башне, в книжках и на конференциях для того, чтобы спокойно напоминать читателям о том, что другой социальный мир возможен. Хочу менять настоящее вместе с другими. Благодаря социальным сетям и медиа я обладаю исключительным и непрерывным доступом к личным историям несправедливости миллионов людей по всей планете – от США до Индии. Другими словами, мой взгляд на мир глубоко глобален. А. Магун пишет о том, что он ощущает различие между своим и моим поколениями. Думаю, что различие между нами действительно существует, но оно заключается не в разном отношении к социальным проблемам (эмоциональном или более охлажденном, активном или пассивном), не в разных политических проектах, не в гендере и даже не в возрасте, а в разных взглядах на свое место в глобальной социальной системе.

Я, как и Мария Кочкина, и, возможно, даже сильнее, чувствую себя элементом всей планеты. Как множество молодых русскоговорящих людей “другого поколения”, с которыми общаюсь и которых изучаю, я слежу за движениями и политикой одновременно в десятках стран, не ограничиваясь США, Европой или Россией. Специфическая глобальность взгляда или, вернее, хрупкая попытка вырваться за границы политики одного национального государства и его истории представляет собой ту политическую особенность молодежи, которую редко замечают современные исследова-

тели, чей труд, как правило, сконцентрирован на изучении политических изменений в отдельно взятой стране или – максимум – в их группе. Мария Кочкина фиксирует именно такую *новую глобальность* в своем высказывании, напоминая о “миллионных феминистских демонстрациях против насилия за репродуктивные права в США, Европе и Латинской Америке, росте низовых движений против растущего неравенства и сокращения социального сектора (“Желтые жилеты”, студенческие протесты в Чили, возвращение “социалистической” повестки в политике в США и Великобритании, и т.д.), шестимиллионной глобальной забастовки с требованиями объявления чрезвычайного климатического положения. Мир бурлит, и даже в России мы чувствуем эти сдвиги.”

Маша совершенно права, когда предполагает, что часть современной политической борьбы в России, в том числе проходящей на страницах фэйсбука и телеграмма, но при этом не сводимая исключительно к онлайн-форме, так или иначе вызвана глобальными политическими конфликтами. Часть феминистских споров, например, обсуждение насилия над женщинами и проблемы сексуального харассмента – так же, как и новая волна эко-активизма в инстаграме, являются частными русскоязычными случаями выражения глобального политического противостояния между сторонниками старых и новых норм, отражением структурного недовольства целой системой, отвечающей за воспроизводство социального неравенства, того самого перспективного недовольства, которое предлагает найти Артем. Во многом движение в поддержку сестер Хачатурян лета 2019 года и выросшее на его основе массовое феминистское движение в поддержку законопроекта о домашнем насилии являются примерами актуализации *основной политической страсти: надежды на совместное действие и альтернативную социальную реальность*. Источники этой надежды – успешная кампания в поддержку Ивана Голунова месяцем ранее и в меньшей степени – массовые кампании против женского фемцида в Латинской Америке, Турции.

Нужно подчеркнуть, что российский политический феминизм практически не связан с движением *metoo* и американскими правовыми дискуссиями – точно так же, как американское движение *metoo* практически не связано с мировой, низовой и уличной феминистской политикой. Это два совершенно разных, хотя и пересекающихся поля. Важной задачей политической критики должно быть их разделение вместо смешивания в один аналитический котел.

Некоторые российские и американские исследователи склонны представлять короткий флешмоб против насилия над женщинами с хэштегом *metoo* (очень специфически американский и локальный в силу многих при-

чин, для обсуждения которых нет места в этом коротком тексте) в качестве центрального феномена актуальной мировой феминистской борьбы. Я считаю, что это принципиально неверный взгляд на историю феминистских движений. Многие удивляются, когда узнают, что флешмоб добрался до верхов Голливуда и элитных кругов США только спустя три или четыре года с начала появления похожих акций женской солидарности в Мексике, Украине, России, Великобритании и еще десятках стран. Очень многие не знают, что структура “жалоб”, то есть постов в социальных сетях сильно отличалась от страны к стране. Если в американском случае, например, доминирующей формой высказывания действительно было правовое и индивидуалистическое, как замечает Артем: “Я – жертва и хочу наказать преступника,” то в случае России и Украины и более ранней акции *#яНеБоюсьСказать* женщины писали посты с целью “поделиться похожим опытом” и “объединиться через общую травму”.<sup>1</sup> Формат американского *#metoo* в России полностью провалился, не вызвав совершенно никакой реакции. По указанным причинам и акценте на травму как личное (а не коллективное) переживание американские феминистки очень критично относятся к флешмобу и не считают его какой-то новой и заслуживающей отдельного внимания страницей феминистской истории.<sup>2</sup>

Итак, движение в поддержку сестер Хачатурян летом 2019 года и кампания в поддержку законопроекта о домашнем насилии представляют собой проявления коллективной чувствительности к социальному неравенству и ситуации, при которой женщины сегодня только из-за своего гендера в несколько раз чаще, чем мужчины, оказываются жертвами домашнего насилия и убийств. Коллективные силы сопротивляться этой несправедливости, выходить на улицу, обсуждать текст законопроекта, у женщин, мужчин и представителей других гендеров возникли в результате временного политического подъема, появления общей надежды на свою власть над машиной репрессий. Главной политической мишенью и адресатом этих движений была правовая система и российское государство как таковые, причем, судьба мужчин как социальной группы движения совершенно не интересовала – в то время как феминистская чувствительность распространяется и на систему гендерной иерархии, и на институт семьи, и на государственных чиновников и иногда касается популярных культурных и медийных деятелей, которые по своим соображениям продолжают не замечать структурного неравенства. Феминистский гнев в русскоязычном поле касается системных властных позиций. Да, чаще всего такие позиции занимают мужчины, но часто гендерные иерархии на постсоветском пространстве воспроизводят и успешные женщины.

Почему, говоря об уличных движениях за гендерное равенство, я говорю о коллективной чувствительности и политической страсти, и что я подразумеваю под этими фразами? Моей исходной предпосылкой является принципиальная неотделимость эмоций от политической борьбы. Проще говоря, я утверждаю, что политика, конфронтация и столкновение нескольких сил, включает в себя коллективные страсти (*надежду, гнев, разочарование, смелость*) и без них невозможны. Я отталкиваюсь от политического анализа Вебера, Люксембург, Грамши и теоретиков и критиков толпы начала 20 века: Канетти, Лебона, Тарда. На волне роста массовой политики и умножения социальных движений (которая очень схожа с той, которую мы наблюдаем сегодня) начала прошлого века, элитных политических исследователей интересовало, почему толпы людей, бедных, грязных и эмоциональных, собираются вместе, и какую роль в этом играют коллективные эмоции. Лебона и Тарда, правда, волновало, как этот процесс можно остановить и успокоить, но их вклад в общую дискуссию от этого не менее важен.

Главный теоретик рациональности Вебер был также и главным теоретиком политических чувств: *надежды и страха*. Политик Вебера – это страстный борец за правду, чувствительный к эмоциональности масс. Страсть как непоколебимая привязанность к конечной цели и вдохновение – то, что отделяет политика от частного гражданина, для которого такой цели не существует. В своем известном эссе «*Политика как призвание и профессия*»<sup>3</sup> Вебер определяет политику как то, что делается головой, но не исключительно ею. Политика – медленное движение против ветра, комбинация страсти и рационального суждения, упорные шаги по направлению к невозможному несмотря ни на что. Конечно, момент эмоциональности не охватывает все определение политического целиком, и время от времени политикам необходимо заниматься “духовной пролетаризацией,” то есть снижением уровня страстей для того, чтобы достичь своих целей. Но наличие общих страстей (главным образом *надежды на другой мир большего равенства и свободы*) – это именно то, что отделяет область политического действия от похода в магазин за продуктами.

В своих ответах Артем, Маша Б. и Маша К. все выражают эту надежду и желание другого мира. Артем пишет, что не хватает универсальных идентичностей, Маша Б. – о том, что у активисток и активистов в России нет большого проекта, в который можно себя инвестировать, то есть нет сверхзадачи и объекта любви, Маша К. – о поиске новой надежды, “за которую можно было бы ухватиться”. Мы все ищем одного и того же: совместного действия. Мы все одинаково страдаем от его отсутствия и видим слишком много изоляции и отчуждения людей друг от друга вокруг. Социальное от-

чуждение в последнее время принимает особенно тяжелые формы: взаимное подозрение, обиды, репрессии несогласия, глубокий страх коммуникации. Мы при малейшем несогласии непрерывно обвиняем друг друга в отсутствии желания солидарности. Коммуникация превратилась в минное поле и вместо радости от совместного диалога вызывает только напряжение и подозрение. Мы боимся, что нас запишут не туда, не туда классифицируют, и мы потеряем своих немногих друзей и перспективы социального признания. Эта реальность, страх и одиночество-среди-своих невыносимы.

Я не думаю, что причина того отчуждения, которое мы описываем, вне зависимости от гендера, кроется в структуре движения *metoo* или капиталистической культуре США 1980-х. Особая эмоциональность современной молодежи - тоже не очень убедительное объяснение столь глубокого феномена. И уж точно я не считаю, что в отчуждении виноваты российские феминистки или экологи со своими "частными" проблемами и слишком личными онлайн-спорами. Не считаю, что индивидуализацию в современной России можно объяснить исключительно капиталистическим индивидуализмом и нормами буржуазной культуры, хотя какую-то часть проблемы они действительно могут помочь понять. Не только капитализм, но и мы как политические субъекты «приложили руку» к росту социальной изоляции, потому что отказываемся разговаривать с каждым, кто с нами не согласен по какому-то поводу, записываем людей вокруг себя в «неправильных» или даем им психологические прозвища (невротик, истерик, депрессивный, тревожный и т.п.). Мы по большому счету друг другу просто не интересны со своими мыслями и действиями (мы делаем вид, что *и так все друг про друга понимаем*). Точно так же, как мы со своими протестами и оппозиционным мнением, неинтересны правящей элите. Годы абсолютного политического бессилия убили взаимное любопытство, не говоря уже о способности говорить об утопических проектах другого мира. Я вижу основную причину "пассивной активности," особой обидчивости, индивидуализации конфликтов, бесперспективных и болезненных риторических фэйсбук-состязаниях за правоту и самоцензурирование, "перманентного чрезвычайного положения" и катастрофизма в политическом бессилии и отсутствии ресурсов для более масштабной и универсальной схватки с врагом: мировой капиталистической системой. Левые активистки и активисты делают то, что могут, чтобы, как написала Маша Б., просто продолжать ощущать себя *живыми* в ситуации *отсутствия общей надежды*.

1. Anna Sedysheva, The #янебоюсьсказать (#Iamnotscaredtospeak) Campaign of July 2016 in Facebook Russian Speaking Community: A Discourse Analysis, *Praktyka Teoretyczna*, Number 4 (30)/2018, pp. 180-202.
2. См., например, номер, посвященный движению #metoo: *Journal of Ethnographic Theory*, Vol 8, No 3 (2018), <https://www.haujournal.org/index.php/hau/issue/view/hau8.3>
3. Max Weber, *Political Writings, The Profession and Vocation of Politics*, Cambridge University Press, pp. 309-370.

*Артеми́й Магун*

Мне кажется, что все мы четверо согласны в том, что аффекты бывают двух разных видов. Аффект повседневный выражается в фиксации на модусе «здесь и теперь» (а вовсе не на фиксации глобального поколения), на модусе “я” или “мы”, когда и «я» и «мы» являются обиженными – и хотя сам это тип аффекта действительно нам не принадлежит, а является, бессознательно, некой *effervescence collective* по Дюркгейму, эмоциональный человек не опознает этой тайной любви к толпе, а бросается на красные тряпки мелочей, и аффект от этого приобретает невыносимый для самого же субъекта смысл. А вот любовь, катарсис, глобализация поколения (как у АК) – это уже не эмоции, а страсти, способные длиться, а не рваться от невыносимости. Но по идее охваченность такой страстью должна высвобождать нас от реакции на мелочи (об этом хорошо пишет Бадью в книге про апостола Павла). Спору нет, что последние 20 лет, особенно в России, создали атмосферу безвыходности. Я согласен с АК, что это фактор того, что многие тихо «бесятся». Но в то же время никто не мешает даже в этих условиях выстраивать глобальное движение, скажем, социалистического или коммунистического толка, а его нет. Частью этого глобального движения должна стать революционизация семьи и политическое переосмысление пола по принципу свободного рекомбинирования “маскулинных” и “феминных” качеств – но способствует ли этому именно нынешний мейнстримный феминизм, вбивающий зачем-то клин между мужчинами и женщинами под знаменем садо-мазохистской чувственности – раскол, не имеющий никакого отношения к делу! – я осторожно сомневаюсь. Мне кажется, это некая превращенная форма реальной страсти.

### **Против чувствительности**

В нашей дискуссии я стою на позиции “против чувствительности” и “за хладнокровие”. Моя реплика будет малочувствительной, краткой и хладнокровной. Я считаю, что нынешняя “мода на чувствительность” — это нечто вмененное нам неолиберальной демократией и политикой идентичностей: как неоднократно отмечали, коллеги, что мы все принадлежим к каким-нибудь дискриминируемым группам, и будто бы только и ждем проявлений этой дискриминации. В обществе, где все права и свободы якобы положены каждому, на деле каждому положены лишь обиды и вторичная выгода от них.

Когда речь идет о “чувствах верующих”, которые чрезвычайно легко могут быть затронуты чем угодно — например, современным искусством, — то всем более-менее очевидно, что таковые чувства становятся почвой для многочисленных политических спекуляций, вплоть до инициированных “неравнодушными гражданами” судов над художниками и художницами: жертвами такого судебного преследования стали Pussy Riot и, ранее, поэтесса, художница и феминистка Анна Альчук, покончившая с собой в эмиграции после судебного процесса над организаторами выставки “Осторожно, религия!” (2003)<sup>1</sup>, — а также можно сказать, что жертвой “чувствительности верующих” пал арт-активизм, сменившийся коммерциализированным, загнанным в гетто музеев, территориализированным современным российским искусством. Можно, правда, возразить, что Анна Альчук была слишком чувствительна. На чьей стороне здесь “чувствительность”, а на чьей — “хладнокровие”? Действительно ли речь шла об обостренных чувствах верующих, либо же задеты оказались чувства совсем других людей — “хладнокровных” критиков религии и роли церкви в современном российском государстве?

Под маской “чувствительности” могут действовать абсолютно разные силы, и как таковая она не хороша и не плоха. Под маской “хладнокровия” — тоже. Каждый раз, когда мы говорим об этих понятиях, мы вынуждены выяснять, в чем, собственно, состоит ситуация, каковы ее стороны, и в чем заключается конфликт. Перечислю здесь пункты, по которым для меня все же в целом предпочтительнее хладнокровие.

Во-первых, женщинам “чувствительность” вменяется как свойство, как черта характера, с детства, — и уже одного этого достаточно, чтобы бунтовать против нее. Чувствительность в воспитании женщины противопостав-

ляется способности мыслить: полезнее для женщины становится интуитивное угадывание, которое сродни незнанию, но движению на ощупь во тьме.

Во-вторых, чувствительность подходит для того, чтобы сохранять статус кво и ориентироваться в текущей ситуации, но совершенно бесполезна там, где необходимо ее изменить. В нашей дискуссии я приводила пример с хирургом, которому, чтобы совершить благо исцеления, требуется хладнокровие. Философия, поэтика, фотография также сталкиваются с необходимостью “хирургически” точно отделять одно от другого, различать, разрезать, вскрывать и подвергать дескрипции не всегда приятные особенности реальности, которые могут кого-то травмировать. Теория травмы, на которой стоит психоанализ, сама по себе – всего лишь метод, и когда она начинает применяться буквально ко всему, то оказывается оружием в руках безвидного врага.

В-третьих, хладнокровие нужно для того, чтобы справиться с *чужими* чувствами. Представьте себе слишком чувствительного психоаналитика, который рыдает вместе с пациентом: будет ли толк от его рыданий? Тому, кто находится в позиции взрослого и думает о других, нужна не чувствительность, но хладнокровие.

Что это нам дает на уровне общества? Я согласна с позициями всех в этой дискуссии, могу их разделить и понять. Согласна с Марией Бикбулатовой: чувства нужно принимать всерьез, и чувства, включая ярость, необходимо инвестировать в изменение мира. Согласна с Марией Кочкиной в том, что чувствительность не нуждается в апологии, это часть свободы, и в том, что феминизм несет миру новую истину не силы, но хрупкости. Согласна с Анастасией Кальк в ее ощущении себя “элементом мира”, ощущении себя как точки, в которой сходятся политические конфликты современности. Ее чувствительность – это прежде всего чувствительность к неравенству, к несправедливости. Именно эта чувствительность эмансипаторна – но, как верно замечает Артемий Магун, она не имеет ничего общего с “бессознательным” использованием собственной “чувствительности” для нападения на других людей и перенесения на них ответственности.

Таким образом, ближе всех в этой беседе мне позиция Артемия Владимировича Магуна как наиболее системная: как он однажды сказал на лекции по социально-политической философии, “общество не состоит из каких-то ватных шариков”. Наивно думать, что позиция “чувствительности” принесет в мир изменения, которых хотим мы все – хотя бы потому, что, если они произойдут, они будут ощущаться как довольно чувствительные. А окажемся ли способны ли мы, “такие чувствительные”, выдержать эти изменения? Об этом для меня – краткое эссе Поля Б. Пресьядо “Нотр-Дам

руин”<sup>22</sup>: еще не догорел собор, как власти уже начали его восстанавливать, как бы не выдерживая фрустрации, не позволяя себе скорби, не давая искусству права на исчезновение. Такое право кажется Пресьядо неотъемлемым — но согласиться с этим можно только обладая хладнокровием. Оно необходимо, чтобы без слез проводить старый мир в Преисподнюю.

В нашем *еще старом* мире мы никогда не позволяем себе чувствовать действительно сильно: все время размениваемся на “чувствительность”, на мелочи, на комментарии в фейсбуке, на реакцию на мелкие взаимодействия. И в итоге обратной стороной чувствительности оказывается не хладнокровие, но бесчувствие: если как “чувствительное” ощущается всё, например, малейшие изменения собственного настроения или пожар в церкви (с чего, черт возьми, мы тогда так расстроились?), то на деле глубоких и сильных чувств не вызывает ничего. Вот моя главная претензия к чувствительности.

1. Подробнее об истории художницы Анны Альчук можно прочитать на Colta.ru *Что случилось с Анной Альчук? Елена Волкова о книге Михаила Рыклина “Пристань Диониса,”* 18 февраля 2014 года, <https://www.colta.ru/articles/literature/2102-chto-sluchilos-s-annoy-alchuk>
2. Поль Б. Пресьядо, *Notre-Dame-des-Ruines*, пер. Дмитрия Виленского под ред. Елены Костылевой и Никиты Сунгатова, опубликовано 24 апреля 2019, <https://syg.ma/@galina-1/pol-b-tochka-priesiado-front-zashchitnikov-notr-dama-ruin>